

Анна Разувалова

# Люди и звери в неопочвеннической прозе

Anna Razuvalova

People and Animals in *Neopochvennichestvo* Prose

**Анна Разувалова** (ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший научный сотрудник; канд. филол. наук) rai-2004@yandex.ru.

**Ключевые слова:** неопочвенничество, советская литература, консерватизм, экология, зоозащитное движение, отношения людей и животных, гуманизм, насилие, жертва

УДК: 82.3: 82.4

В центре статьи — представления неопочвеннической (или деревенской/традиционалистской) прозы «долгих 1970-х» о взаимоотношениях человека и животного. Будучи по большей части выходцами из крестьянской среды, писатели-неопочвенники (В. Астафьев, В. Солоухин, В. Белов, С. Залыгин) критически относились к современной цивилизации и технико-экономическому прогрессу, последовательно уничтожавшим природный мир. С их точки зрения, гармоничные отношения между человеком и животным существовали в традиционной крестьянской культуре, ныне разрушаемой процессами урбанизации и индустриального развития. Автор статьи анализирует консервативную историософию, которая описывала кризис современной цивилизации как процесс взаимной деградации человека и животного (одичание и дегуманизация) и предлагала искать выход в следовании «природной мудрости», воплощенной животным (С. Залыгин), и в преодолении «зверских» инстинктов человеческой натуры (В. Астафьев). В статье также рассматриваются: 1) взаимосвязь посттравматической реакции общества на пережитое насилие (война, государственный террор), идеологии заботы о животных, продвигаемой советскими зоозащитными организациями, и образа животного-жертвы; 2) неопочвеннические стратегии виктимизации животного, объявляемого жертвой насилия, которое порождено логикой осуществления модернизационных проектов.

**Anna Razuvalova** (PhD; Senior Researcher, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences) rai-2004@yandex.ru.

**Key words:** *neopochvennichestvo*, Soviet literature, conservatism, ecology, animal protection movement, human-animal relationships, humanism, violence, victim

UDC: 82.3, 82.4

The focus of the article is the idea of *neopochvennichestvo* (or rural/traditional) prose of the “long 1970s” on the interaction between man and animal. Coming from the peasant milieu for the most part, the *neopochvennichestvo* writers (Viktor Astafiev, Vladimir Soloukhin, Vasily Belov, Sergei Zalygin) were critical toward contemporary civilization and technological and economic progress, which in turn had destroyed the natural world. From their point of view, harmonious relationships between man and animal existed in traditional peasant culture, which was being destroyed by the processes of urbanization and industrial development. The article’s author analyzes conservative historical philosophy, which described the crisis of contemporary civilization as the process of the reciprocal degradation of man and animal (going wild and dehumanization), and proposed looking for a way out via following the “natural wisdom” embodied by animals (Zalygin), and overcoming the “beastly” instincts of human nature (Astafiev). The article also examines 1) the interrelation between the post-traumatic reaction of society to living through violence (war, state terror), the ideology of caring for animals promoted by Soviet animal protection organizations, and images of animal victims; 2) *neopochvennichestvo* strategies of the victimization of animals declared to be the victims of violence, which arose out of the logic of the implementation of modernization projects

Форматирующей для зоо- и природозащитных представлений «долгих 1970-х» была переосмысленная в культуре оттепели идея нового советского человека, чьей важной социальной и моральной добродетелью стала гуманность по отношению к «братьям нашим меньшим». Ее надлежало прививать, развивать

и поддерживать, ведь «любовь к животным, — по словам Г. Серебряковой, — свойственна советскому народу, и только некультурность может порождать попытки посягнуть на животный мир» (цит. по: [Рябинин 1985: 235]).

В послевоенный период забота о животных, в основном домашних, живущих в условиях современного города или же модернизируемой и благоустраиваемой деревни, признавалась важным инструментом успешной социализации детей и подростков, развития в них необходимых гражданину коммунистического общества качеств — отзывчивости, доброты, солидарности. Однако этот новый эмоциональный стандарт не должен был подрывать своеобразный советский «спешисизм» — антропоцентричную иерархию ценностей, на вершине которой находились человек, прогресс и общественное благо. Приоритетность последних провозглашалась бесспорной, потому в публичном дискурсе высказывания «в защиту живого» сочетались с признанием необходимости использования животных в научных или хозяйственных целях. «Мы не будем проливать слезы над Лайкой, которая сгорела в атмосфере во имя исследований будущего», — заявляли в начале 1960-х годов писатели Л. Леонов и Б. Рябинин [Леонов, Рябинин 1961: 39], считавшиеся апологетами «дружественного» отношения к животным, которых они в соответствии с существующими культурно-идеологическими конвенциями описывали в компромиссной терминологии морального (по аналогии с народнохозяйственным) ресурса.

Тем не менее, в отличие от ситуации конца 1920—1930-х годов, когда забота о животных в СССР определялась прежде всего их полезностью для решения задач общегосударственного масштаба и вписывалась в мобилизационную модель развития (см.: [Nelson 2006]), в послесталинской культуре мотивы, побуждавшие к проявлению подобной заботы, были более разнообразны и включали в себя, например, жалость к животным и стремление предотвратить или уменьшить их страдания. Мотив этот, универсальный для послевоенных движений по защите животных как на Западе, так и в СССР, реанимировал в новых условиях первоначальный импульс к возникновению соответствующих организаций в Европе и России XIX века. Если рассматривать хрущевский, а затем и брежневский, период как новую фазу советской модерности, легитимировавшую различные формы «буржуазности», то представления о необходимости гуманного, законодательно регулируемого отношения к животным, исторически несущие на себе отпечаток культурного кодекса «цивилизованности» и связанного с нею смягчения нравов, в послесталинской культуре были актуализированы вполне ожидаемо.

Стоит подчеркнуть, что позднесоветский дискурс гуманного отношения к животным не отличался идеологической гомогенностью. Он аккумулировал в себе следы революционной футурологии, предсказывавшей возникновение равноправия между людьми и животными, представления о педагогическом эффекте заботы о «братьях наших меньших», определяющий для управленческих практик советского (и не только советского) модернизационного проекта взгляд на животное как на «экономический ресурс» и наряду с этим — критику «утилитаристского» взгляда как с консервативной, так и с (квази)либеральной точки зрения. Эти идеи очерчивали пространство нарративов и практик «заботы о животных», во взаимодействии с которым формировался позднесоветский субъект, а их реконфигурации в известной мере предопределяли наличие разрывов и противоречий в конструкциях «человеческого» и «животного», «гуманности» и «жестокости» в «долгие 1970-е».

Историю зоозащитных инициатив в СССР и соответствующей риторики, как и историю нарративов, в центре которых взаимоотношения «человек — животное», и соответствующих практик, еще предстоит написать<sup>1</sup>. Эта статья — шаг в обозначенном направлении. Исходя из тезиса о многослойности и многосоставности позднесоветской риторики гуманного отношения к животным, я рассматриваю консервативную версию представлений о взаимоотношениях человека и животного, предложенную писателями неопочвеннического толка («деревенщиками»), а также их взгляд на феномен зоозащиты. Репутация этих авторов (В. Астафьева, С. Залыгина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Солоухина и других) как главных выразителей экологической озабоченности в культуре «долгих 1970-х» и создателей литературной натурфилософии, возникшей в ответ на гибель «крестьянской Атлантиды», общеизвестна. Экоанималистические сюжеты их прозы отражали уже упоминавшуюся дискурсивную и жанрово-стилистическую многослойность, которая вообще была характерна для разговора о животных в советской литературе. Подозрительная тоска в их произведениях по лошадям и петуху [Яковлев 1972: 4] — животным, олицетворявшим традиционный крестьянский уклад и свойственные ему «природные» формы межвидовой солидарности: («Привычное дело» В. Белова, 1966; «Комиссия» С. Залыгина, 1975), — возмущала партийных идеологов привязанностью к «уходящей» природе и консервативным, в подтексте националистическим, неприятием советской современности. Неопочвенники не были чужды традиционному жанру охотничьего рассказа, они довольно часто прибегали к параллелизму и, условно говоря, аллегориям, рифмующим судьбы человека и животного. В их творчестве был значительный пласт дидактичных, сентиментальных, занимательных произведений о животных, адресованных детям<sup>2</sup>. Но главное, что в их прозе содержались впечатляющие картины природного бытия, полноправными и самоценными обитателями которого являлись животные («Царь-рыба» В. Астафьева, 1976), ныне, по мнению неопочвенников, находящиеся под угрозой со стороны агрессивной цивилизации.

Помня о репутации неопочвенников как активных борцов за экологию, логично предположить, что идеи и практики защиты животных тоже встречали поддержку с их стороны. В принципе, так оно и было, но с существенными оговорками. Современное состояние дел в области экологии и охраны животных неопочвенники рассматривали через национал-консервативную призму. Отсюда их ультракритицизм в отношении современной цивилизации, последовательно уничтожающей «заповедное» и вторгающейся в области, не под-

1 Здесь не имеет смысла перечислять статьи, посвященные отдельным авторам и различным аспектам репрезентации в российской/советской культуре взаимоотношений человека и животного, — их количество велико, особенно если учитывать работы о натурфилософии «деревенщиков», которые стали появляться еще в 1980-е годы. Упомяну только несколько сборников и обобщающих работ: [Weiner 1999; Rosenholm, Autio-Sarasma 2005; Costlow, Nelson 2010; Звери и их репрезентация 2010].

2 В 1970—1980-е годы «деревенщики» несколько раз участвовали в сборниках экоанималистической направленности, предназначенных для детей. См., например: «О братьях наших меньших» (1983), среди авторов которого были Ф. Абрамов, С. Залыгин, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин; «Постижение родства» (1987) с участием Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Распутина. Довольно часто обращались к детской аудитории В. Белов («Рассказы о всякой живности», 1978) и особенно — В. Астафьев с многочисленными повестями и рассказами.

лежащие контролю человека (например, в существование зверей в дикой природе), отсюда же их убежденность в том, что этап гармоничных отношений человека и животного в историческом смысле остался позади, ему на смену пришли разобщенность и одиночество. Методы, которыми предлагалось сократить дистанцию между человеком урбанистической культуры и представляющими за «природу» животными, подчас вызывали у них скепсис (например, излишняя близость животного к человеку в условиях городской цивилизации В. Астафьеву виделась ловушкой для животного, утрачивающего в непосредственном соседстве с людьми свои природные инстинкты; см. «затеси» «Кузяка», «Глухарь», «Слезы тигра»). В сходном ключе рассуждал В. Солюхин, считавший спасение вымирающих видов диких животных неоправданным вторжением в природу, нарушением механизмов ее саморегуляции и покушением на столь ценимую неопочвенниками «естественную мудрость»:

Сейчас много делается, чтобы спасти журавлей, особенно белого журавля, стерха, который стал редкостью. <...> Изымают у них из гнезда яйцо, выводят журавленка в питомнике, выращивают. Для зимовки — теплое помещение. Конечно, благое дело. Но журавли, разгуливающие в виде кур? Или домашних гусей? Если журавли не летят клином в синем небе и не курлычут, то какие же это журавли? [Солюхин 1988: 323]

Курируемая государством борьба за сохранение флоры и фауны у неопочвенников тоже нередко вызывала отталкивание — в силу шаблонности используемых СМИ пропагандистских ходов и ее общего имитативного характера, позволявшего прикрывать системные проблемы гиперморализмом. В «затеси» Астафьева «Хвостик» (1981) ироничным символом такой борьбы становится консервная банка с засунутым в нее мертвым сусликом, поставленная кем-то на разворот газеты с заголовком «В защиту природы» и дописанным, как полагает писатель, кровью зверька словом «отклик» [Астафьев 1988].

Вместе с тем неопочвенники исходили из необходимости всячески способствовать гуманизации советского порядка, который негласно рассматривали как репрессивный. В идеологии любви к животным и их защиты от жестокого обращения важным для многих из этих авторов оставался «оттепелый» реликт — потребность, во-первых, в более широком репертуаре эмоций, среди которых полемичные по отношению к сталинской культуре эмпатия, жалость, сострадание, во-вторых, в гуманизации межчеловеческих отношений и либерализации отношений между государством и обществом. Отсюда обилие в неопочвеннической прозе поучительных историй о животных, где последние представляли катализатором эмпатии в человеке. Подключавшиеся к идущей из литературы XIX века традиции «воспитания доброты» рассказами о животных, эти тексты, на мой взгляд, косвенно отсылали и к «оттепелой» метафоре всеохватывающей, нерегламентированной гуманности<sup>3</sup>.

В общем неопочвенники мыслили по преимуществу категориями «места», биологических рода и вида, природного гомеостаза, простраивая границу между «диким» и «культурным» в опоре на опыт крестьянского сословия и предлагая крестьянскую «экофилософию» в качестве альтернативы генерируемым центром «колониаторским» проектам освоения периферии, в том

3 О роли «дискурса включения» для «оттепелой» культуры и новом языке эмоций применительно к взаимоотношениям животного и человека см.: [Разувалова 2020].

числе ее природно-заповедных областей. Этот тип мышления о природе и животных был отличен от мышления практически ориентированного, сосредоточенного на правовых вопросах использования животных и сопутствующих этических коллизиях, которое было свойственно зоозащитникам. Зародившееся в 1954 году как низовая инициатива, советское движение в защиту животных получило институционализацию при поддержке государства<sup>4</sup> и в дальнейшем, опираясь главным образом на гражданскую активность и энтузиазм своих сторонников, продолжало использовать предоставляемые властями ресурсы. Как следствие, его риторика представляла собой комбинацию пропагандистских клише и различных способов осторожно их оспорить, а его деятельность включала в себя не только просветительские акции, но и переговоры с властными инстанциями с целью изменить законодательные нормы в отношении животных. Безусловно, «биоэтический» пафос зоозащиты<sup>5</sup> неопочвенникам был близок, но если проделать рискованную операцию по описанию неопочвеннического экологизма и феномена позднесоветской зоозащиты в терминах типологически близких западных явлений, то окажется, что творчество и общественную деятельность неопочвенников уместнее интерпретировать используя концептуальный аппарат экокритицизма<sup>6</sup> (со вторжением на территорию *animal studies*), а в культурно-просветительской, экспертной, правовой деятельности зоозащитников видеть (пусть с серьезными оговорками) советский — политически, культурно, идеологически лимитированный — аналог *animal rights movement*<sup>7</sup>.

Несмотря на различия, идеологию и практику советской зоозащиты и неопочвеннический экологизм, бывший частью многоуровневого, неоднородного по своим идеологическим ориентациям и разнообразного по характеру активности природоохранного движения, имеет смысл сопоставлять как формы гражданской самоорганизации (при большем или меньшем контроле со стороны государства), как дискурсивные пространства, в которых можно было проговаривать идеи доктринально сомнительные, сложно вписывавшиеся

- 
- 4 Сначала Секция охраны животных появилась в Москве при Всероссийском обществе охраны природы (ВООП), позднее — в Ленинграде, Киеве, Харькове, Львове, Иваново, Симферополе, Ялте и других городах. Поддержку инициативам Секции оказывали график и скульптор-анималист В.А. Ватагин, режиссер, руководитель Центрального театра кукол С.В. Образцов. Его жена, актриса О.А. Образцова, возглавляла МСОЖ. Деятельность секций охраны животных не исчерпывалась выступлениями в печати, лекциями, созданием факультетов охраны природы в народных университетах. Зоозащитники организовывали передержку бездомных кошек и собак, предоставляли возможность юридической помощи в спорных ситуациях содержания домашних животных или при составлении актов о жестоком обращении с ними. Активистам удалось провести несколько поправок к существовавшим законам и добиться административных решений, которые регулировали наиболее жестокие практики обращения с животными (см.: [Воспоминания Т.Н. Павловой]).
  - 5 Одна из видных представительниц советского зоозащитного движения Т.Н. Павлова стала автором первого в постсоветской России учебника «Биоэтика в высшей школе» (1997).
  - 6 См., например, экокритицистскую интерпретацию произведения Распутина: [Перкиёмяки 2016].
  - 7 В России позднеимперского периода также высказывались идеи о наделении животных правами [Безобразов 1903; Горбунов-Посадов 1910], и в этом смысле советская зоозащита, не будь очевидных цензурных ограничений, могла опереться на отечественную традицию.

в санкционированную сверху повестку, и расширять тем самым социально-философский и правовой лексикон позднесоветского общества.

Далее в поле моего внимания будут находиться две темы, связанные с осмыслением неопочвенниками природы советского модернизационного проекта и отражающие сосуществование в их прозе нескольких риторико-дискурсивных моделей репрезентации животного. Первая тема — с хорошо различимыми национал-консервативными и экофилософскими обертонами — специфична именно для этого направления: речь о консервативной мифологии доместикации и дедоместикации животного, задающей контуры неопочвеннической критики историко-цивилизационного процесса. Вторая тема, тесно связанная с экологическими интенциями неопочвенничества, по мнению М. Эпштейна, характерна для позднесоветского культурного сознания и реализуется в разных жанрово-тематических направлениях [Эпштейн 1990: 121—123]. Это тема уязвимости «живого», эмблемой которой стал образ животного — жертвы людской жестокости. Неопочвенники решают ее на основании опыта проживания (и конструирования) травмы советской модернизации. Говоря об этой теме, я остановлюсь главным образом на произведениях В. Астафьева, но попытаюсь хотя бы бегло охарактеризовать символическо-идеологические доминанты наиболее резонансных зоозащитных дискуссий послесталинского периода и показать, как работала в них символическая фигура животного, выполнявшая функции оператора дискурсивных процедур включения и исключения.

## Одомашнивание и одичание: разлучение с животными

В сформированной крестьянской культурой оптике неопочвенников символический статус животного — либо союзник (если речь о домашнем животном), помогающий людям выживать и обживать мир, либо странно родственный человеку и вместе с тем таинственный, ускользающий от объективации полноправный обитатель природного универсума (если речь о диких видах), классический «животный Другой» (animal Other), в отождествлении и растождествлении с которым человек непрерывно конструирует собственную видовую идентичность. Сотрудничество с домашними животными и равноправное сосуществование с дикими в пределах биоцентрически понятого природного мира, если следовать логике культурно-идеологических построений неопочвенников, было возможно, пока человечество развивалось по восходящей траектории. Иначе говоря, пока оно не разорвало связей с природой и не начало мыслить себя ее отдельно существующей частью, наделенной привилегией рационального мышления. В глазах неопочвенников одомашнивание животных и обустройство с их помощью разумного и упорядоченного мира — заслуга древних земледельцев и скотоводов, образовавших со временем крестьянское сословие, чья деятельность стала для писателей своего рода архетипом творческого эволюционного развития<sup>8</sup>. «Исчезновение» животных — букваль-

8 Неопочвенники, кажется, довольно равнодушно отнеслись к современным им опытам по одомашниванию, во всяком случае самому известному и самому трагическому из них — воспитанию львов в семье Берберовых, который сочувствующими

ное и метафорическое — из современного мира также оказалось для них связанным с распадом и гибелью крестьянской культуры.

В новой фазе антицивилизационной критики, пришедшей на 1970-е годы, неопочвенники реанимируют «руссоистский» комплекс идей о губительности отпадения от природы и повторяют ключевые мотивы новокрестьянской поэзии и творчества С. Есенина, но в своих традиционалистских инвективах они удивительно совпадают еще и с Д. Берджером, автором концептуально важного для animal studies эссе «Зачем смотреть на животных?» («Why Look at Animals?», 1977), в котором обличавший «культуру капитализма» автор-марксист ставил в прямую зависимость «маргинализацию» животных и «маргинализацию и устранение» из истории среднего и мелкого крестьянства — «единственного класса, который на протяжении веков не терял близости к животным» [Берджер 2017: 63]. Модернизация, в эссе Берджера ассоциируемая с индустриальным натиском капитализма, а в неопочвеннической публицистике и прозе — социализма, сначала имплицитно, а начиная с конца 1980-х годов открыто трактуемого как вопиюще «антиприродное» явление [Залыгин 1993: 20], в обоих случаях предстает масштабной операцией по исключению не готовых или не способных встроиться в новый порядок. В данном случае речь идет о животных. Их «выпадение» из некогда разумно организованного, но «испорченного» цивилизацией мироустройства неопочвенники описывают как одичание, процесс, обратный domestikации, протекающий, однако, не как возвращение в пространство природной первозданности (wilderness), но как возникновение некой серой зоны, где обитают особи, пережившие опыт жизни рядом с человеком, отвергнутые им и уже не способные вернуться к собственной дикой природе. Аналогичный одичанию процесс, охвативший людское сообщество, Л. Леоновым, предтечей неопочвенничества и медийным лицом советской охраны природы и животных, был назван «дегуманизацией» (цит. по: [Рябинин 1986: 179]), и эта дефиниция получила распространение в кругу литераторов и журналистов, специализировавшихся на экологической тематике. Однако ими утрата человеком своих культурно- и социально-видовых характеристик трактовалась как следствие разобщенности с миром животных и растений, в то время как для неопочвенников, варьировавших христианскую идею избранности и призванности человека, «дегуманизация» была скорее причиной дедоместикации и фактором, ускорявшим ее ход.

Неопочвенников занимало утраченное состояние социоприродного равновесия. Согласно С. Залыгину, идеальный, гарантировавший устойчивость социальной конструкции баланс «животного» и «человеческого» обеспечивался

---

характеризовался как многообещающий эксперимент (см.: [Беляев, Бородин 1980; Рябинин 1986]). Если сторонников Берберовых происхождение привлекало возможностью проблематизировать границу, отделяющую дикое животное от человека, изучить ситуацию «Маутли наоборот» и получить новое знание о межвидовом взаимодействии, то у писателей неопочвеннического плана такой эксперимент скорее мог вызвать скепсис. Нельзя сказать, чтобы границу между человеком и животным они считали незыблемой: критический настрой в отношении антропоцентризма, задававшего иерархию «человеческого» и «животного», легко обнаруживается в их текстах [Солоухин 1988: 121], но, поскольку сам эксперимент Берберовых демонстрировал чуждую неопочвенникам претензию советской культуры на изменение природы животного под воздействием воспитания, он остался на периферии внимания неопочвенников (исключение представляет отзыв Солоухина, см.: [Там же: 364]).

существованием в человеке «дикого», которое когда-то являлось точкой входа в природное единство и которое ныне утрачено: одомашнивание или приручение более невозможны потому, что для этого «и самому надо быть хоть немного дикарем. Вполне естественным в своих отношениях ко всему живому!» [Залыгин 1980: 60]. В этом контексте животное наделялось позитивными для консервативно-романтического сознания смыслами укорененности в природной «подлинности», а конструкция «животности» (animality), к которой генеалогически восходила семантическая характеристика «дикости», соотносилась не с модернистски понятой «бестиальностью», но с «естественностью» и «природной мудростью», другими словами не с бунтом и нарушением границ, а с их инстинктивно точным чувствованием, позволяющим выживать при помощи гибкости и приспособляемости.

Консервативная апология животного и «животности» как высокоразвитого инстинкта органичного «встраивания» в существующие биосоциальные структуры развернута в повести С. Залыгина «Наши лошади» (1980), сюжет которой схематизирован автором до очерковой прямолинейности: животные непреднамеренно ставят эксперимент над людьми, побуждая их к пересборке устоявшихся представлений о «человеческом».

Завязкой служит нелепая случайность — встреча на узкой горной тропе двух всадников, членов научной экспедиции, которые из-за невозможности разминуться спешиваются, оставляют лошадей стоять друг напротив друга и возвращаются в лагерь. Сначала персонажи осмысливают ситуацию через нагромождение стереотипов и мифологем, подтверждающих привилегированность человека и инструментализующих животное: лошади — вечные слуги человека, и теперь сам ход событий заставляет принести их в жертву Случаю, спасшему людей, но обрекшему животных на гибель [Там же: 6]. Однако потом они вынуждены перейти на язык феноменологии эмоций и состояний: естественно-консервативным добродетелям приятия, спокойствия и «постоянства» [Там же: 60], которыми Залыгин наделяет лошадей, противопоставлены свойственные людям смятение, тревога, лихорадочное изобретение все новых и новых способов эффективно изменить сложившуюся (и, кажется, безвыходную для животных) ситуацию. В ценностно нагруженной топографии повести лошади примечательно помещены выше человека — они стоят на высокой горной тропе, и это пространство подобно сцене, от которой люди, находящиеся в лагере у подножия горы, не в состоянии отвести глаз. Пристальное вглядывание в «животного Другого» порождает несколько эффектов: во-первых, персонажи обнаруживают фиктивность «мы», принадлежность к которому, как им казалось, освобождала от травматичного выбора — жить или умереть лошадям; во-вторых, они вынуждены проблематизировать собственные убеждения о человеке как о «вершине эволюции». Залыгин здесь использует давно апробированные доводы против видового превосходства: притязания человека на биологическую привилегированность писатель выводит из его способности к мышлению, которая в контексте повести предстает всепоглощающей рефлексией, ведущей к растождествлению с собственным «естеством» и блокирующей в высшей степени свойственную животным способность просто «быть»:

Но мы продолжаем карабкаться по своей одушевленности, словно по пожарной лестнице, лишь бы вверх... — и, может быть, давно уже миновали ту высоту, которая нам, людям, имярек, действительно соответствует?! <...> Вот наши лошади,

их одушевленность — величина постоянная, должно быть, поэтому мы испытываем к ним зависть. Постоянство — это ведь очень серьезно для нашего времени, не так ли? [Там же: 60]

В финале повести лошади, обреченные в глазах наблюдателей на медленную смерть, все же спасаются и делают это без помощи людей: одна из них опускается на колени, а вторая перешагивает через нее. В итоге спокойное смирение животных, их следование инстинкту и трудно давшийся людям отказ от вмешательства в ситуацию предстают идеальной консервативной формулой взаимодействия с миром, где образцом для человека является «животное» и «природное».

Несмотря на то что Залыгин диагностирует неспособность современного человека к партнерству с животным, к каковому тот был изначально призван, писательские представления о гармоничном сосуществовании людей и животных подчинены дискурсу включения, который, по словам О. Тимофеевой, опирается «на идею некой общности всех видов, допускающей возможность коммуникации и взаимодействия» [Тимофеева 2017: 22]. «Идея общности» в сочинениях неопочвенников устойчиво соотносилась с понятием «сопричастности» (см.: [Астафьев 1980]), пробуждение которой они называли одной из главных экологических задач литературы. «Сопричастность» толковалась ими как чувство принадлежности к единому «бытию», не отменявшее, а, напротив, предполагавшее различия между человеком и зверем, наличие между ними гибких, но неотменяемых границ. Именно с границами и их культурной легитимированностью, которая натурализовалась и преподносилась в качестве естественной «нормы», неопочвенники связывали идею разумного социально-природного порядка. Собственно, в этом они и раскрывались как консерваторы, тоскующие по устойчивой системе ориентиров («традиции»), фрустрированные размыванием прежних границ и норм.

В консервативной перспективе животное было ценно как элемент давно установившегося символического и культурного порядка, зафиксированного фольклорными текстами. Предполагалось, что положение животного по отношению к человеку и его мифологизированные характеристики безошибочно отрегулированы традицией. В стабильности моделей репрезентации животных виделось условие успешной социализации личности и устойчивого существования общества. Исходя из этого, на мой взгляд, следует трактовать почти пародийные в своей «косности» выпады В. Белова против появления в обиходе ребенка новых игрушек-животных, разработанных неким НИИТЭ — «то ли мухи с мушонком, то ли какого-то таракана». В детской передаче «Карусель» Белов тоже с тревогой обнаружил «каких-то странных амёб с хвостиками» и крысу:

Странная эстетика! До сих пор и у всех народов в детские сны являются лошадки, добрые мишки, мурлыкающие кисаны, а не безобразные осьминоги. <...> Между тем крысы не только свободно разгуливают по телеэкранам и пластинкам. Они еще названы для рифмы в стихах Анфиса, Лариса, Раиса... [Белов 1989: 288]

Если набор игрушек, метафорически domesticiруемых детьми, с точки зрения Белова, давно выработан традиционной культурой, то дестабилизация контекстов, обеспечивавших место рядом с ребенком «доброму мишке» и «мурлыкающему кисану», возможная коммуникация с существами, символизировав-

шими «отвратительное», далеко не безобидны, поскольку свидетельствуют о вторжении в «лад» традиционной культуры чего-то запретного, заставляющего усомниться в благообразии и устойчивости этого мира.

## «Зверское» в человеке: В. Астафьев о дегуманизации и одичании

В отличие от Залыгина, полагавшего, что когда-то «дикость» облегчила эволюционные контакты людей и животных, В. Астафьев считал «дикость» и «животное» в человеке факторами, затруднявшими эволюцию. В силу биографических обстоятельств глубоко затронутый опытом насилия и по-настоящему серьезно отнесшийся к идее прогресса и гуманизации человечества через культуру (см.: [Разувалова 2015: 164—179]), Астафьев описывал процессы совершенствования общества и личности как восхождение от животного состояния к состоянию подлинной человечности (и, наоборот, деградация социума и человека уподоблялась регрессу к «зверскому»). Не вдаваясь в анализ генеалогии образно-дискурсивной схемы «восхождения», разнообразно варьировавшейся как в советском прогрессизме, так и в попытках его подорвать, отмечу: исходная точка развития — «животное состояние» — мыслилась писателем как область насилия и темных инстинктов [Каминский 2015: 193], что уже отличало его позицию от маркировавшего неопочвенничество и, в принципе, свойственного самому Астафьеву пиетета перед основанной на инстинкте «изначальностью» животного. Помимо этих двух семантических регистров — животное как метафора «зверского» и «насильственного» в человеке/природе<sup>9</sup> и животное как воплощение инстинктивного знания «природного закона» и следования ему, — для прозы Астафьева был характерен и третий, знаковый для литературы 1970-х годов семантический регистр — животное как жертва, символ «невинности», «уязвимости», «беззащитности» перед обрушивающимся на мир насилием. Эклектичное, казалось бы, соположение реплик о «звере», пробуждаемом в человеке зрелищем бокса [Астафьев 2009: 38], картин неустрашимого уничтожения животными друг друга и животных — людьми («Медведи идут следом», 1975), ламентаций и инвектив в адрес человечества, предавшего своих союзников — животных («Синие сумерки», 1967), поучительных историй, утверждавших непреложность возмездия для тех, кто совершил «грех» против жизни<sup>10</sup>, эксплицировало фундаментальный для мира Астафьева конфликт «природы» и «культуры», «животного» и «человеческого», разворачивающийся, по его мнению, в истории человечества и сознании личности.

В рассказе «Улыбка волчицы» (1987) писатель изображает едва не стоившую жизни герою-егерю заминку с идентификацией возможного гибрида собаки и волка (гибридные особи появляются как результат очередной «победы цивилизации» — строительства ГЭС, перемещения волков ближе к лю-

9 Об иронии, сопровождающей циркуляцию метафоры «зверскости», см.: [Clark 2004].

10 В «затеси» «За что?» (1991) один из героев воспринимает раннюю смерть сына как кару за убийство скворца, повествователь же всецело разделяет логику возмездия, наиболее масштабно сформулированную Астафьевым в романе «Прокляты и убиты» (1990—1994).

дям и скрещивания их с брошенными собаками из подвергшихся затоплению деревень):

Волчица не успела обиходить себя, не вытерла мокрую морду о белый снег. Каждый острый волосок полнился от корней бесчувственным каменным налетом. И на каждом заостренном кончике волоса ягодкой алела капля крови, отчего серая морда выглядела алчно, и притворно притухшие глаза не могли ее загасить. Лукавое собачье притворство плохо давалось беспощадному зверю.

Карпо Верстюк и в самом деле был человеком чувствительным... Но перед ним юлил хвостом, лицемерил враг, и он приставил карабин к плечу... [Астафьев 1997а: 370]

Случай, который мог остаться охотничьей байкой, Астафьев пытается осмыслить, во-первых, как опасный прецедент дезориентации, наступившей в результате разрушения привычных границ и биологических классификаций, во-вторых, как иллюстрацию процесса взаимной деградации человека и зверя, истоки которой — в отказе человека культивировать в себе «человеческое» и преобразовать область «животных инстинктов».

Вопреки доктринальным обществоведческим установкам, согласно которым в условиях прогрессивного социального строя возможно изменение врожденных биологических программ (см., например: [Уилсон, Симонов 1976]<sup>11</sup>), и, напротив, в резонансе с критикой аномалий современной цивилизации этологами Конрадом Лоренцом и Десмондом Моррисом [Разувалова 2015: 174—175], Астафьев полагал, что необходимый в дикой природе биологический механизм агрессии работает в социуме и истории как деструктивное начало — высвобождает в человеке врожденную тягу к насилию, которую тот направляет на себе подобных и эволюционно зависимые виды животных.

В СССР рамка дискуссий о природе, причинах, проявлениях жестокости и насилия была задана ключевыми положениями марксистско-ленинского обществоведения. Стандартный идеологически приемлемый ответ на вопрос о причинах жестокости, тиражировавшийся в СМИ, научно-популярной и академической литературе, объявлял жестокость, в том числе в отношении животных, перешедшей из прошлого в настоящее архаичной формой (био)социального поведения — «пережитком», в некоторых случаях — реликтом «древних обычаев», следование которым как бы высвечивало слабо урбанизированные и модернизированные районы просвещающейся и цивилизующейся страны [Рябинин 1986: 53—54]. На проведенной в 1974 году Секцией охраны природы Московского общества испытателей природы (МОИП) научной конференции «Феноменология жестокости» рассматривались разнообразные проявления жестокости по отношению к животным и психологические механизмы, наподобие жажды самоутверждения, стимулирующие демонстративно жестокое поведение, приводились данные социологических исследований, проведенных активистами-зоозащитниками, наконец, обсуждались правовые механизмы контроля жестокости [Феноменология жестокости 1975]. Но и на этой прорывной для зоозащитников конференции, легитимировавшей возможность не dogматичного публичного обсуждения социально тревожного явления, преоб-

11 О разработке проблематики биосоциального в советской науке см.: [Грэхэм 1990: 221—259].

ладали два способа объяснения причин жестокого поведения детей: во-первых, порожденное урбанизацией отдаление от природы, во-вторых, несовершенство педагогических методов, призванных развить гуманность в пластичной и лишённой врожденных склонностей натуре ребенка.

Астафьев же, в целом солидаризируясь с подобными доводами, констатировал наличие в человеке не поддающихся терапии просвещением «звериных» глубин, биологически детерминированных хищнического и стадного рефлексов [Каминский 2015: 193]<sup>12</sup>. Этот нетривиальный для позднесоветской культуры «биологизаторский» подход, парадоксально сочетавшийся со склонностью писателя к дидактике, морализму и вере в изначальную predisposedность человека к добру («Человек-то ведь задуман Богом хорошо» [Астафьев 1997б: 316]), с наибольшей откровенностью обнаружил себя во второй половине 1980-х годов в крайнем антропологическом пессимизме Астафьева (в частном письме 1988 года он называет человека «выродившейся тварью», «ошибкой природы, роковой ее опечаткой» [Астафьев 2009: 415]). Понятно, что в предыдущее десятилетие сомнения писателя в желании человека возвыситься над «звериным» в себе выражались в более конвенциональных формах, например в моралистически нагруженных нарративах о взаимоотношениях животных и людей, в которых животное представляло символом не сдерживаемой культурой склонности к насилию, человек — источником страданий животного и оба они — жертвами насилия, беззащитными перед катастрофизмом бытия и авторитарным государством.

## Жертвы насилия: человек и/или животное?

В 1958 году в газете «Коммунист Заполярья» был опубликован рассказ Астафьева «Домашнее животное», который спустя несколько лет в переработанном виде под заглавием «Старая лошадь» вошел в сборник писателя «След человека» (1962) (см.: [Гапеев 2015]). В центре рассказа, разительно контрастировавшего с историями о приключениях и подвигах животных на войне (ср.: [Вирта 1958]), — страдания старой раненой лошади, несколько дней стоявшей на нейтральной полосе и в конце концов убитой героем. Важнейшая повествовательная подробность — герой стреляет в животное не с позиций, занятых их подразделением, а подойдя под огнем к нему вплотную и превратив тем самым убийство в акт милосердия. Рассказ, весьма симптоматичный для Астафьева, уже с конца 1950-х годов пробовавшего раскатать стремительно складывавшийся канон изображения войны, становится первым в ряду его произведений о животных — жертвах военной бойни («Поросли окопы травой», 1961; «Бедный зверь», 1975), где в семантике войны как братоубийства будут актуализированы новые смыслы, проецируемые на «братьев наших меньших».

Советская моральная педагогика заботы о животном, как уже говорилось, фокусировалась на просвещении граждан, по понятным причинам удовлетворяясь стандартными ответами на вопрос о причинах проявления ими жесто-

12 Ожесточенная критика Астафьевым в конце 1980-х и в 1990-е годы советского «эксперимента», по наблюдению П. Каминского, основывалась на убеждении в биологической обусловленности людской склонности к деструктивности, которую всячески поощряла советская идеология [Каминский 2011: 142].

кости. Между тем публичное обсуждение случаев жестокого обхождения с животными, как и характер литературных и визуальных репрезентаций животного-жертвы несли более или менее очевидный след травматизации насилием, диагностировать которую, оставаясь в пределах культурного языка «долгих 1970-х», было сложно (вероятно, астафьевский крен в так называемое биологизаторство как раз был следствием попыток найти новые язык и объяснительные модели для выражения травматического опыта).

Примечательно, что тема жестокости в отношении животных и сострадания им уже в 1950-е годы обретает относительно внятные смысловые очертания именно в символично-дискурсивном поле, связанном с войной и военным насилием<sup>13</sup>. Общепринятым было мнение о том, что пережитое во время Великой Отечественной войны умаление ценности всего живого в дальнейшем укрепило гуманное отношение советских людей к разнообразным проявлениям жизни. Тесно связанный с МСОЖ писатель Б. Рябинин полагал, что опыт столкновения с военным насилием послужил толчком к созданию зоозащитных организаций:

...в том, что секции [охраны природы] появились именно в это время, определенную роль сыграли испытания, которые в недавнем прошлом пришлось пережить стране и народу. Война ожесточает, но она же с особой убедительностью и неоспоримостью... поднимает значение *живого* (Курсив мой. — А.Р.) [Рябинин 1986: 35].

В публицистическом дискурсе отсылки к жестокому военному опыту будут регулярно появляться при необходимости объяснить повышенную чуткость к страданиям животного. Например, в очерке Ю. Роста «Два года ждет» об оставленной хозяином на аэродроме Внуково овчарке Пальме сообщается, что первым, кто заинтересовался судьбой собаки и попытался ей помочь, был пилот В. Валентэй — бывший узник Дахау: «...человек... повидавший на своем веку много горя, он узнал его в глазах исхудавшей собаки» [Рост 1976: 4]. Апелляция к войне станет и элементом противоположной риторической стратегии, оправдывавшей индоктринированность насилием и его применение:

...ребята-подростки убивали нырков, которые вышли на берег, испачкавшись в мазуте, выброшенном асфальтобетонным заводом, в ответ на замечание учительницы сказали: «Мы должны уметь убивать. А если будет война? Надо учиться убивать» [Рябинин 1986: 112].

Упоминание «фашистских зверств» тиражировалось авторами многочисленных откликов на убийство хулиганами лебедя Борьки в одном из московских парков (1965):

Защищая в 1941 году Москву от фашистов, не думал я, что после войны в нашем городе появятся подобные люди. Вся моя семья и жильцы дома просят суд сурово их наказать. И не двоих, а всех четверых: выдворить их из столицы! (Из письма ветерана Великой Отечественной войны К. Беличенко) [Рябинин 1986: 91].

13 Самые известные образы людской жестокости в отношении животных нередко заимствуются из репертуара тропов, репрезентирующих геноцид, объектом которого становится не этническая или социальная группа, а не-человеческие биологические виды. В качестве иллюстрации можно упомянуть показавшееся некоторым читателям оскорбительным название книги американского зооактивиста Ч. Паттерсона «Вечная Треблинка. Наше отношение к животным и холокост» (*Patterson Ch. Eternal Treblinka. Our Treatment of Animals and the Holocaust*. N.Y.: Lantern Publishing & Media, 2001.).

Выступавшие на публичном суде над убийцами Борьки<sup>14</sup> активировали разветвленную сеть ассоциаций, позволявшую сначала отождествить убийство животного с убийством человека, а потом подвести их под определение фашизма как биологической девиации, разгула варварски «звериного» начала<sup>15</sup>:

«Жестокость — одна. Двух жестокостей не бывает», — твердо сказал Алексеев (общественный обвинитель по этому делу от МСОЖ. — А.Р.). Итог подвела секретарь парторганизации Парка культуры и отдыха, женщина, испытывавшая ужас Освенцима:

— Это фашизм... [Там же: 92—93]

Во всех перечисленных случаях война была, по словам Н. Копосова, «точкой кристаллизации экстремального опыта, социального опыта, прямо с ней не связанного»: «Это прежде всего опыт террора. <...> Война сделала этот опыт сказуемым — и как бы растворила в себе» [Копосов 2011: 92—93]. Произведения, в которых судьба животного прямо выводила читателя к анализу государственного насилия, как показывает судьба повестей Г. Владимова «Верный Руслан» (1963—1965) и В. Тендрякова «Хлеб для собаки» (1970), не имели шансов быть опубликованными. Однако посттравматическая реакция на государственный террор в произведениях о животных-жертвах, где выявлялись границы насилия и его последствия в эмоциональной сфере, давала о себе знать косвенными способами. Она возникала в текстах не на уровне тематизации, а на уровне аллюзий и намеков, деталей, проясняющих генеалогию изображаемых социальных типов или привычных социальных практик. В качестве примера сошлюсь на повесть Г. Тропольского «Белый Бим Черное ухо» (1971)<sup>16</sup>, где рефреном монологов противников собаки является тоска

- 14 Этот суд стал первой успешной акцией зоозащитников, получившей общесоюзный отклик. Впрочем, судебное разбирательство, завершившееся вынесением довольно суровых приговоров обвиняемым, стало возможным потому, что лебедь Борька был «материальной ценностью», стоявшей на балансе. Зоозащитниками факт проведения гласного процесса был воспринят с воодушевлением, поскольку проблема жестокости переводилась в правовую плоскость, следовательно, возникала возможность осторожного обсуждения прав животных на гуманное обращение. Воспринятое сторонниками зоозащитных идей как победа, некоторыми представителями диссидентского движения, помнившими о политической ангажированности советского правоприменения и судопроизводства, это событие было истолковано как очередное подтверждение репрессивного характера советской системы: «“Гуманизм” дошел до того, что даже посадили в тюрьму людей за убийство лебедя Борьки в Москве. Можно надеяться, что когда-нибудь гуманизм распространится и на людей» [Мороз 1997].
- 15 Риторика публичного суда демонстрирует, как логика включения беззащитных животных в пространство сочувствия и заботы отзеркаливается логикой исключения их обидчиков: общество поддерживает представления о собственной гуманности, обнаруживая «человеческую» способность к страданию у погибшей птицы (переводя ее в ранг квазижертвы) и способности к «звериной» жестокости у ее убийц. Об операции производства различий при помощи метафоры животного см.: [LaSarpa 2010].
- 16 В трактовке Г. Мондри, считающей повесть Тропольского полемичным выходом за пределы повестки, продвигаемой в 1970-е годы «деревенской прозой», белая окраска Бима — метонимия преследуемого меньшинства, изъяны в его родословной — намек на маргинализацию по принципу социального происхождения, заявления граждан в милицию о необходимости поимки якобы бешеной собаки — аналог доносов в эпоху репрессий [Mondry: 286, 298, 303]. Несмотря на некоторую прямолинейность выводов исследовательницы, стоит согласиться с ней в том, что повесть Тропольского — сына репрессированного священника, всегда помнившего о своей социальной неблаго-

по прежним временам, порядку и чистоте: «Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? <...> Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!» [Троепольский 1979: 97]. Репрессивная социальная гигиена как примета 1930-х годов ассоциативно сближена в повести с кампаниями по «очистке» городов от бесхозных животных. В этом смысле ревнители чистоты, которые преследуют Бима, символизирующего неподатливость контролю, дисциплинаризации, а значит, и чуждость (см.: [Тимофеева 2007: 94]), действуют согласно социальным предписаниям сталинской эпохи.

Жертвой насилия, бесперебойно производимого карательной машиной, становится собака Бойе из одноименного рассказа в астафьевской «Царь-рыбе». Писатель не касается темы политических репрессий, но декорации, в которых разворачивается драма, хорошо узнаваемы: это социально пораженное северное пространство — место ссылки и лагерей, систематического насилия, перенаправленного в данном случае с заключенных на собаку. Сама сюжетная организация текста провоцировала параллели между животным и человеком, однако некоторыми читателями с лагерным опытом побуждавшая к сочувствию история Бойе была воспринята как своего рода этико-эстетическая «подмена». В глазах критика С. Ломинадзе сентиментальный пафос, с каким Астафьев повествовал о собачьей судьбе, был избыточен и выводил из фокуса замалчиваемое литературой людское бесправие и уязвимость перед насилием:

Трогательно рассказано о гибели собаке Бойе, но я работал как раз в те годы на строительстве «самой северной железной дороги», и боюсь, что на фоне испытанного тогда людьми история собаки отдает сентиментальной красотой [О красоте природы 1978: 318].

Самое интересное, что сходные претензии в «подмене» объекта сострадания Астафьев высказывал по поводу повести Троепольского и массового заступничества за овчарку Пальму, оставленную хозяином. Резонансная история Пальмы, полагал выражавший точку зрения зоозащитников Рябинин, свидетельствовала о сильнейшем запросе советского общества на проявление эмпатии, потому она и породила «общее глубокое чувство сострадания» [Рябинин 1986: 18]. В принципе, для такого рода аргументации были основания: широкое общественное внимание к судьбе преданного животного можно трактовать как сдвиг в массовых представлениях о «человеческом» в сторону гуманности, как эпизод, сделавший очевидным изменение языка публичных эмоций. Однако, по мнению Астафьева, сфокусированность публики на образе страдающей собаки, созданном медиа и литературой, погружала обывателя в состояние аффекта и снимала ответственность за последовательное этическое поведение:

---

надежности для государства, является образцом позднесоветского эзопова языка. Скорее всего, нарратив о гонениях и смерти Бима в обстоятельствах начала 1970-х годов (снятие А. Твардовского с должности главного редактора «Нового мира», пропагандистская кампания против А. Солженицына) действительно читался, во всяком случае демократически ориентированной частью аудитории, как иносказание о преследовании жертв. Сам Троепольский, посвятив повесть Твардовскому, подталкивал к такому прочтению. Косвенным свидетельством того, что история Бима резонировала в читательском сознании с преследованием инакомыслящих, на мой взгляд, можно считать и название одной из рецензий «Бим, его друзья и недруги» [Саенко, Ялмар 1971], обыгрывающей название знаменитой статьи В. Лакшина 1964 года «Иван Денисович, его друзья и недруги», посвященной повести Солженицына.

...мещане всего мира готовы лить слезы по «поводу собачки» — «Комсомолка», «Брошенная во Внуково овчарка». И создавать Бима. Ни одно, подчеркиваю, ни одно! произведение, напечатанное в «Нашем современнике»... не вызвало такую бурю откликов и писем, как повесть средней руки, будто специально для утехи современного мещанина писана, как «Белый Бим Черное ухо» [Астафьев 1997б: 365].

Травмированный военным насилием, неоднократно свидетельствовавший о чувстве глубокой вины и стыда перед брошенными или искалеченными животными, призывавший кары на голову человечества, предавшего своих друзей (см.: [Астафьев 1997в: 394]), писатель удивительным образом отказывался видеть в сочувствии Пальме<sup>17</sup> что-нибудь, кроме имитации соучастия и потакания «советского мещанина» своей сентиментальности (возможно, подобная реакция тоже является посттравматическим симптомом, когда субъект выстраивает объяснения происходящего в постоянной оглядке на опыт пережитого насилия). С точки зрения Астафьева, подобные массовые всплески сочувствия работали по принципу вытеснения «страшного» и игнорирования повседневного насилия, направленного против животных и людей. Потому публичное коллективное сострадание имело своим обычным результатом маргинализацию животного по отношению к эмоциональным эффектам, вызванным эксплуатацией его образа, причем такой же маргинализации подвергались нуждающиеся в заботе и сочувствии «не-медийные» животные, оттесненные на периферию внимания, не различимые для симпатизантов Пальмы.

Возвращаясь к упреку Ломинадзе в адрес Астафьева, надо признать, что логика высказывания критика понятна и даже совпадает с логикой самого автора «Царь-рыбы», правда обращенной к чужим текстам. Тем не менее если рассматривать «Бойе» в контексте «Царь-рыбы», откуда, как мы знаем, были исключены рассказы, затрагивавшие тему государственного террора (например, «Не хватает сердца», опубл. 1990), то с позицией Ломинадзе согласиться будет трудно. В «Бойе» в логике дискурса включения астафьевские человек и собака не противопоставлены как виды, занимающие более высокое и более низкое место в биосоциальной иерархии, а сближены как уязвимые по отношению к насилию страдающие существа. Важно, что интерес неопочвенников к животным в известном смысле находился в одном ряду с интересом к разного рода «подчиненным» — русскому крестьянину или сибирскому инородцу, — носителям «природности» и жертвам насильственной переделки мира авторитарным государством и модернистскими элитами. Собственно, аналитика уничтожения «природности» и персонифицировавших ее сообществ лежала в основе национал-консервативной критики советского проекта (ее образцы легко найти в неопочвеннической прозе), которая виртуозно оперировала сложно устроенной метафорикой «противоестественности» и «антижизненности» советского «эксперимента», уничтожающего «живое», но обреченного на гибель в силу своей глубокой и непоправимой разобщенности с ним. В этом смысле животные для неопочвенников, действительно, одна из нескольких

17 После публикации очерков Ю. Рост об оставленной в аэропорту собаке редакция «Комсомольской правды» получила больше 3000 писем, а также денежные переводы в «фонд Пальмы» и заявки от желающих забрать животное к себе. Бурная реакция на судьбу животного, на первый взгляд, была идеальным для советских идеологов примером массовой отзывчивости советских людей, однако впоследствии сам Рост весьма скептически относился ко всеобщему ажиотажу вокруг Пальмы (см.: [Рост 2012]).

виктимизированных категорий, подвергающихся опасности исчезнуть под натиском технико-экономического прогресса («цивилизации») или быть уничтоженными постоянно продуцируемым современным человеком (и государством) насилием. Тем не менее критика неопочвенниками «онтологических» основ советского проекта, прежде всего в произведениях экологической направленности, не может заслонить того факта, что их социальная и культурная идентичность — продукт этого проекта, они были сформированы его эпистемологическими моделями, культурными и социальными практиками и — в качестве публичных интеллектуалов — включены в поддержание и воспроизводство советского порядка. Это измерение их деятельности — просветительское, связанное с осуществлением педагогических функций советского писателя — обнаруживается в приверженности морализму, критикуемому, но не отбрасываемому окончательно антропоцентризму и идее духовного прогресса человечества, которые оказались инкорпорированы в неопочвенническую риторику гуманного отношения к животным и природе. В общем, охарактеризованная в этой статье лишь в первом приближении дискурсивно-риторическая гибридность экологических историософии и поэтики неопочвенничества требует углубленного анализа, который позволит более обоснованно судить и о механизмах производства «человеческого» и «человечности» в советской культуре, и о роли метафоры животного в конструировании подлежащих включению/исключению групп.

## Библиография / References

- [Астафьев 1980] — *Астафьев В.* Сопричастный ко всему живому // Лауреаты России: Автобиографии российских писателей. Кн. 3. М.: Современник, 1980. С. 5—29.
- (*Astaf'ev V. Soprichastnyy ko vsemu zhiwomu // Laureaty Rossii: Avtobiografii rossiyskikh pisateley. Bk. 3. Moscow, 1980. P. 5—29.*)
- [Астафьев 1988] — *Астафьев В.* Падение листа // Чувство земли. Советские писатели и ученые об охране родной природы, об экологии хозяйствования / Сост. Ю. Мазуров. М.: Мысль, 1988. С. 6—21.
- (*Astaf'ev V. Padenie lista // Chuvstvo zemli. Sovetskie pisateli i uchenye ob okhrane rodnoy prirody, ob ekologii chozyastvovaniya / Comp. by Yu. Mazurov. Moscow, 1988.*)
- [Астафьев 1997а] — *Астафьев В.П.* Собрание сочинений. В 15 т. Т. 9. Печальный детектив. Рассказы. Красноярск: Офсет, 1997.
- (*Astaf'ev V.P. Sbranie sochineniy. In 15 vols. Vol. 9. Pechal'nyy detektiv. Rassказы. Krasnoyarsk, 1997.*)
- [Астафьев 1997б] — *Астафьев В.П.* Собрание сочинений. В 15 т. Т. 12. Публицистика. Красноярск: Офсет, 1997.
- (*Astaf'ev V.P. Sbranie sochineniy. In 15 vols. Vol. 12. Publitsistika. Krasnoyarsk, 1997.*)
- [Астафьев 1997в] — *Астафьев В.П.* Собрание сочинений. В 15 т. Т. 3. Пастух и пастушка. Рассказы. Красноярск: Офсет, 1997.
- (*Astaf'ev V.P. Sbranie sochineniy. In 15 vols. Vol. 3. Pastukh i pastushka. Rassказы. Krasnoyarsk, 1997.*)
- [Астафьев 2009] — *Астафьев В.* Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952—2001. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009.
- (*Astaf'ev V. Net mne otveta... Epistolarnyy dnevnik 1952—2001. Irkutsk, 2009.*)
- [Безобразов 1903] — *Безобразов П.В.* О правах животных. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1903.
- (*Bezobrazov P.V. O pravakh zhiivotnykh. Moscow, 1903.*)
- [Белов 1989] — *Белов В.* Раздумья на родине. М.: Современник, 1989.
- (*Belov V. Razdum'ya na rodine. Moscow, 1989.*)
- [Беляев, Бородин 1980] — *Беляев Д.К., Бородин П.М.* Зачем людям ручной лев? // Химия и жизнь. 1980. № 3. С. 56—58.

- (Belyaev D.K., Borodin P.M. Zchem lyudyam ruchnoy lev // Khimiya i zhizn'. 1980. № 3. P. 56—58.)
- [Берджер 2017] — Берджер Д. Зачем смотреть на животных / Пер. А. Асланян. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
- (Berger J. Why Look at Animals. Moscow, 2017. — In Russ.)
- [Вирта 1958] — Вирта Н. О том, как олень на батарее жил // Костер. 1958. № 3. С. 33—36.
- (Virta N. O tom, kak olen' na bataree zhil // Koster. 1958. № 3. P. 33—36.)
- [Воспоминания Т.Н. Павловой] — Воспоминания Т.Н. Павловой о зарождении движения за права животных в СССР и России // www.vita.org.ru/veg/veg-literature/pavlova-memoirs.htm (дата обращения: 10.06.2021).
- (Vospominaniya T.N. Pavlovoy o zarozhdenii dvizheniya za prava zhivotnykh v SSSR i Rossii // www.vita.org.ru/veg/veg-literature/pavlova-memoirs.htm (accessed: 10.06.2021).)
- [Гапенко 2015] — Гапенко В. Виктор Астафьев: «Домашнее животное» и «Старая лошадь». Блог Валентины Гапенко. 2015. 21 января // https://gapeenko.net/astafiev/4069-viktor-astafiev-domashnee-zhivotnoe-s-staraya-loshad.html (дата обращения: 10.06.2021).
- (Gapeenko V. Viktor Astaf'ev: "Domashnee zivotnoe" i "Staraya loshad'". Blog Valentiny Gapeenko. 2015. January 21 // https://gapeenko.net/astafiev/4069-viktor-astafiev-domashnee-zhivotnoe-s-staraya-loshad.html (accessed: 10.06.2021).)
- [Грэхэм 1990] — Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политиздат, 1991.
- (Graham L.R. Science, Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union. Moscow, 1991. — In Russ.)
- [Горбунов-Посадов 1910] — Горбунов-Посадов И.И. Сострадание к животным и воспитание наших детей. М.: Тип.-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910.
- (Gorbunov-Posadov I.I. Sostradanie k zhivotnym i vospitanie nashikh detey. Moscow, 1910.)
- [Залыгин 1980] — Залыгин С. Наши лошади. М.: Правда, 1980.
- (Zalygin S. Nashi loshadi. Moscow, 1980.)
- [Залыгин 1993] — Залыгин С. Экологический роман // Новый мир. 1993. № 12. С. 3—106.
- (Zalygin S. Ekologicheskiy roman // Novyy mir. 1993. № 12. P. 3—106.)
- [Звери и их репрезентация 2010] — Звери и их репрезентация в русской культуре: Труды Лозаннского симпозиума 2007 г. / Под ред. Л. Геллера, А. де ля Фортель. СПб.: Балтийские сезоны, 2010.
- (Zveri i ikh reprezentatsiya v russkoy kul'ture: Trudy Lozanskogo simpoziuma / Ed. by L. Geller, A. de La Fortelle. Saint Petersburg, 2010.)
- [Каминский 2011] — Каминский П. Рефлексия советского в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина 1990-х годов // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. № 1. С. 141—149.
- (Kaminskiy P. Refleksiya sovetskogo v publitsistike V. Astaf'eva i S. Zalygina 1990-kh godov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2011. № 1. P. 141—149.)
- [Каминский 2015] — Каминский П. «Озверевшие от войн, оглохшие от прогресса»: осмысление природы человека в публицистике Виктора Астафьева конца 1980-х — 1990-х годов // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 1. С. 192—200.
- (Kaminskiy P. "Ozverevshie ot voyn, ogloshchie ot progressa": osmyslenie prirody cheloveka v publitsistike Viktora Astaf'eva kontsa 1980-kh — 1990-kh godov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2015. № 1. P. 192—200.)
- [Копосов 2011] — Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- (Koposov N. Pamyat' strogogo rezhima. Istoriya i politika v Rossii. Moscow, 2011.)
- [Леонов, Рябинин 1961] — Леонов Л., Рябинин Б. Все о том же: о человеке, о душе и «козявках» // Наука и жизнь. 1961. № 8. С. 38—39.
- (Leonov L., Ryabinin B. Vse o tom zhe: o cheloveke, o dushe i "kozyavkakh" // Nauka i zhizn'. 1961. № 8. P. 38—39.)
- [Мороз 1997] — Мороз В. Репортаж из заповедника имени Берия // Самиздат века / Сост. В. Бахтин, Н. Ордынский, Г. Сапгир, А. Стреляный. Минск; М.: Полифакт, 1997. С. 184—200.
- (Moroz V. Reportazh iz zapovednika imeni Beriya // Samizdat veka / Comp. by V. Bakhtin, N. Ordynskiy, G. Sapgir, A. Strelyanyy. Minsk; Moscow, 1997. P. 184—200.)
- [О красоте природы 1978] — О красоте природы, о красоте человека (обсуждение книги В. Астафьева «Царь-рыба») // Литература и современность. № 16. М.: Художественная литература, 1978. С. 308—328.
- (O krasote prirody, o krasote cheloveka (obsuzhdenie knigi V. Astaf'eva "Tsar'-ryba") // Literatura i sovremennost'. № 16. Moscow, 1978. P. 308—328.)

- [Перкиёмяки 2016] — *Перкиёмяки М.* Образ реки в повести-очерке В. Распутина «Вниз и вверх по течению» в контексте темы экологической справедливости // Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия. Вып. VII / Под ред. Н.В. Ковтун. М.: Флинта: Наука, 2016. С. 178—189.
- (*Perkijomjaki M.* *Obraz reki v povesti-ocherke V. Rasputina* “Vniz i vverkh po techeniyu” v kontekste temy ekologicheskoy spravedlivosti // *Russkiy traditsionalizm: istoriya, ideologiya, poetika, literaturnaya refleksiya*. Iss. VII / Ed. by N.V. Kovtun. Moscow, 2016. P. 178—189.)
- [Разувалова 2015] — *Разувалова А.* Писатели «деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- (*Razuvalova A.* *Pisateli-“derevenshchiki”*: literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov. Moscow, 2015.)
- [Разувалова 2020] — *Разувалова А.* Люди и собаки, фантастика и реальность: «оттепельная» реабилитация эмоций в повести Никиты Разговорова «Четыре четьрки» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. № 64. С. 259—276.
- (*Razuvalova A.* *Lyudi i sobaki, fantastika i real'nost'*: “otpepel'naya” reabilitatsiya emotsiy v povesti Nikity Razgovorova “Chetyre chetyrki” // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*. 2020. № 64. P. 259—276.)
- [Рост 1976] — *Рост Ю.* Два года ждет // Комсомольская правда. 1976. 19 сентября. С. 4.
- (*Rost Yu.* *Dva goda zhdet* // *Komsomol'skaya pravda*. 1976. September 19. P. 4.)
- [Рост 2012] — *Рост Ю.* Два года ждала. Собака как государство // Новая газета. 2012. 7 сентября.
- (*Rost Yu.* *Dva goda zhдалa. Sobaka kak gosudarstvo* // *Novaya gazeta*. 2012. September 7.)
- [Рябинин 1985] — *Рябинин Б.* Ушедшее — живущее: Книга воспоминаний. М.: Советский писатель, 1985.
- (*Ryabinin B.* *Ushedshee — zhivushchee: Kniga vospomaniy*. Moscow, 1985.)
- [Рябинин 1986] — *Рябинин Б.* Добро в твоём сердце. М.: Советская Россия, 1986.
- (*Ryabinin B.* *Dobro v tvoem serdtse*. Moscow, 1986.)
- [Саенко, Ялмар 1971] — *Саенко Л., Ялмар С.* Бим, его друзья и недруги // Звезда. 1971. № 8. С. 206—208.
- (*Saenko L., Yalmar S.* *Bim, ego druz'ya i nedrugi* // *Zvezda*. 1971. № 8. P. 206—208.)
- [Солоухин 1988] — *Солоухин В.А.* Камешки на ладони. М.: Современник, 1988.
- (*Soloukhin V.A.* *Kameshki na ladoni*. Moscow, 1988.)
- [Тимофеева 2007] — *Тимофеева О.* Кони в законе: краткий набросок к философии животного // Синий диван. 2007. № 10/11. С. 90—95.
- (*Timofeeva O.* *Koni v zakone: kratkiy nabrosok k filosofii zhivotnogo* // *Siniy divan*. 2007. № 10/11. P. 90—95.)
- [Тимофеева 2017] — *Тимофеева О.* История животных. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
- (*Timofeeva O.* *Istoriya zhivotnykh*. Moscow, 2017.)
- [Троепольский 1979] — *Троепольский Г.* Белый Бим Черное ухо. М.: Детская литература, 1979.
- (*Troepol'skiy G.* *Belyy Bim Chernoe ukho*. Moscow, 1979.)
- [Уилсон, Симонов 1976] — *Уилсон Э.* Степень животности; *Симонов П.* Степень человечности // Литературная газета. 1976. № 33 (18 августа). С. 13.
- (*Wilson E.* “Stepen' zhivotnosti”; *Simonov P.* *Stepen' chelovechnosti* // *Literaturnaya gazeta*. 1976. № 33 (August 18). P. 13.)
- [Феноменология жестокости 1975] — Феноменология жестокости // Природа. 1975. № 1. С. 89—101.
- (*Fenomenologiya zhestokosti* // *Priroda*. 1975. № 1. P. 89—101.)
- [Эпштейн 1990] — *Эпштейн М.Н.* «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М.: Высшая школа, 1990.
- (*Epshtejn M.N.* “*Priroda, mir, taynik vselennoy...*”: *Sistema peyzazhnykh obrazov v russkoy poezii*. Moscow, 1990.)
- [Яковлев 1972] — *Яковлев А.Н.* Против антиисторизма // Литературная газета. 1972. 15 ноября. С. 4.
- (*Yakovlev A.N.* *Protiv antiistorizma* // *Literaturnaya gazeta*. 1972. November 15. P. 4.)
- [Costlow, Nelson 2010] — *Other Animals. Beyond the Human in Russian Culture and History* / Ed. by J. Costlow, A. Nelson. University of Pittsburgh Press, 2010.
- [Clark 2004] — *Clark D.L.* On Being “The Last Kantian in Nazi Germany”. *Dwelling with Animal after Levinas* // *Postmodernism and the Ethical Subject* / Ed. by B. Gabriel, S. Ilcan. Kingston; Montreal: McGill-Queen's UP, 2004. P. 41—74.
- [LaCapra 2010] — *LaCapra D.* Powrót do pytania o to, co ludzkie i zwierzęce // *Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki* / Pod red. E. Domańskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. P. 417—474.
- [Mondry 2015] — *Mondry H.* Political Animals: Representing Dogs in Modern Russian Culture. *Studies in Slavic Literature and Poetics*. Vol. 59. Leiden: Brill, 2015.

- [Nelson 2006] — *Nelson A.* A Hearth for a Dog: The Paradoxes of Soviet Pet Keeping // *Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia* / Ed. by L.H. Siegelbaum. Palgrave Macmillan, 2006. P. 123—144.
- [Rosenholm, Autio-Sarasma 2005] — *Understanding Russian Nature: Representations, Values, Concepts* / Ed. by A. Rosenholm, S. Autio-Sarasma. Saarijarvi: Aleksanteri Institute, 2005.
- [Weiner 1999] — *Weiner D.R.* A Little Corner of Freedom: Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley, University of California Press, 1999.